



Виктор Трифонович Слипенчук родился в 1941 году в селе Черниговка Приморского края. Окончил Омский сельскохозяйственный институт и Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А.М. Горького. Поэт и прозаик, публицист. Академик Академии русской словесности. Работал геологоразведчиком, зоотехником, матросом, рыбоводом, строителем и журналистом. Автор множества поэтических сборников, рассказов, повестей и очерков. Среди его произведений поэтические книги «Свет времени», «Путешествие в Пустое место», «Чингис-Хан», «Тринадцатый подвиг Геракла», «Зигзаг». Романы — «Огонь молчания», «Зинзивер». Пьеса для театра в десяти эпизодах «Губернатор». Награжден знаком «Почетный писатель МПО РФ» (2016). Член Союза писателей СССР. Живет в Москве.

Зной

Позвякивая цепью, Джек рыл прохладную ямку возле летней кухни. Его обвисающие, разъеденные мухами уши кровоточили. Джек клацал зубами. Солнце падало прямо во двор. Жар проникал даже в тень. Вода в ковше, сверкая на солнце, ослепляла меня.

Я караулил брата, норовя его облить. Мне было весело. Мои трусы и майка были мокрыми. Брат с тазиком воды прятался за калиткой.

Неожиданно на параконке [\[1\]](#) подъехал отец. Брат вылил воду и открыл калитку, я плеснул ему прямо в лицо. Отпрянув, он крикнул:

— Папка!

Папка у калитки поскользнулся, едва удержавшись за забор.

— Ах ты, сукин сын!

Подняв сухую короткую палку, он схватил брата за руку. Тазик выпал, и Джек, скользя скобкой цепи по проволоке, побежал в другой конец двора.

Я спрятался за летней кухней.

— Ах ты, су-кин сын, лить под ноги! Ах ты, сукин сын!

Папка бил Кольку, моего брата. У меня закружилась голова, и я сел на поленницу дров за летней кухней.

— Ах ты, су-кин сын!

Колька от боли крутился возле своей руки. Он не плакал, а в такт страшным ударам выкрикивал:

— Ой, больш не буду! Ой, больш не буду!

Отец бил яростно и иступленно, как будто бил себя.

Мне было холодно, я дрожал. Мама выскочила из летней кухни и стала бросаться на папку:

— Ты что делаешь, Тихон?! Ты что делаешь?! Обед стынет!

А папка все бил и бил. И лошади не выдержали страха и, оборвав повод, помчались, громыхая арбой, к колхозной конюшне.

Папка кинулся к калитке, а Колька в огород в кукурузу, а я сидел и смотрел, как Джек хочет задушиться в своем собственном ошейнике.

Потом папка вернулся, и мама ему твердо сказала: «Иди ешь». И они друг за другом вошли в летнюю кухню. Минут через пять на арбе подъехал Колька. Он привязал лошадей и убежал в огород.

Из летней кухни папка вышел старым-старым и без шляпы. Увидев лошадей, он, сгорбившись, пошел в сарай.

Я нашел Кольку в самом глухом углу огорода. Он сидел и смотрел, как пчела лазит в большом абажурном цветке тыквы. Я сказал Кольке, что папка плачет в сарае, и Колька разозлился на меня. Но я все равно сел с ним рядом, и мы так долго-долго сидели.

Когда стемнело, вернулись во двор. В летней кухне горел свет. В окна бились вспыхивающие в свете мотыльки, и Джек, радостно взвизгивая, махал нам хвостом.

День Победы

Яков Антонович, припадая на левую ногу, ходил взад-вперед возле полуторки, ожидая и страшась поезда. Но он не пришел, точнее, прийти — пришел, детей не привез. С души отлегло. Садясь в машину, он видел посветлевшие лица доярок, но как осуждать их. Он попросил Геннадия Пушкарёва остановиться возле колхозного клуба и, пока не скрылся за кирпичной пристройкой, чувствовал на себе молчаливый взгляд баб. В тот день с помощью художника он перенес полный текст телеграммы на обратную сторону киноафиши и вывесил на тесовом заборе напротив детсада: «На днях хабаровским скорым отправляются дети Дмитриевский детдом. Обеспечьте встречу. Отправку. Усыновлению населением не перечить. Верно. Полковников».

Телеграмма была отправлена из Владивостока накануне праздника, и этим ее некоторая бестолковость оправдывалась. Во всяком случае, для Якова Антоновича Хвоща, одинокого мужика, бывшего бригадира колхоза «Путь социализма», а теперь председателя сельсовета.

«...Не перечить». Он представил сутолоку больших вокзалов, опаздывание поездов, неразбериху, станционный кипятик с привкусом алюминия, пассажиров на крышах и подножках вагонов, настроенных во что бы то ни стало, а первую годовщину Победы отмечать непременно дома, и уже знал — телеграмму отправили загодя в расчете на всеобщее понимание: детям — места в первую очередь. Он глубоко вздохнул. Вполне

возможно, не Полковников, а полковник такой-то. Впрочем, если обошлось без путаницы — тогда тем более хорошо, что у отправителя такая звучная военная фамилия. Яков Антонович был уверен, что и на председателя колхоза она как-то повлияет и он не откажет в машине. «Конечно, он и так не откажет — дети... и все же военная фамилия по нынешним временам очень даже неплохо», — думал Яков Антонович, мысленно намечая порядок предстоящих ему работ.

В первый день они выехали на станцию после обеда. Неожиданно сообщили, что из Спасска к ним прибывает какой-то московский, выбившийся из графика. Яков Антонович, шкандыбая, прибежал на молочно-товарную ферму и, на счастье, застал Геннадия Пушкарёва (приехал с обеденной дойки, въезжал в ворота). Яков Антонович только что и дал снять фляги с молоком, а дояркам приказал сидеть.

Влезши в кузов и перебросив непослушную ногу через лавку поближе к кабине, вынул из нагрудного кармана кителя телеграмму и, прочитав вслух, махнул Геннадию, чтобы погонял.

— Там, девочки, все обсудим... скорым со Спасска сорок минут ходу, как бы не опоздать.

Доярки, минуту назад весело поглядывавшие на своего бывшего бригадира, пригорюнились: это же что, лишний рот в дом?

— Э-хе-хе, — громко, будто за всех вместе, вздохнул Яков Антонович. — Усыновлению населением не перечить.

Он подтянул ногу: как тут перечить? Два дня назад приезжал директор детдома, наскребли по сусекам мучки да соевого жмыха, с расчетом до июля, с нового полугодия элеватор обещал пособить, теперь не хватит... Яков Антонович опять глубоко вздохнул, и бабы, чувствуя, что их бывший бригадир совсем уже зажурился, заговорили: о батуне, который довольно-таки поднялся, о редиске, по такому теплу и она к двадцатым числам наберет, о крапивном супе — в общем, жить можно.

На станции, оставив полуторку на привокзальной площади у коновязи, покрашенной под шлагбаум, Яков Антонович зашел к дежурному по вокзалу. Дежурил Игнат Воронько, мужик занозистый и скандальный.

Сейчас Игнат изумлял своей вежливостью, точно дорогого гостя, посадил Якова Антоновича на свой стул, сам сел на лавку. Разрешил полуторку подогнать прямо к перрону. Объявил, что, если понадобится, он задержит поезд.

— Пусть потом телеграфируют, что, мол, Черниговка задержала. А то, понимаешь, стоянка три минуты. Они, эти пассажиры, катят, а того не понимают, что станция Мучная — это и есть Черниговка и что она — районный центр. А от так, если маленько подзадерживать, то...

Якову Антоновичу никогда не приходилось бывать свидетелем Игнатовых рассуждений, и он очень удивился — такому человеку, как Игнат, нельзя давать власти, все его ограничения и послабления всегда будут противозаконны. Однако его разрешением воспользовался, полуторку подогнал к перрону, чтобы дети еще с поезда увидели и порадовались машине. Да и стоять... лучше здесь.

Дома, невольно стыдясь душевного облегчения, испытанного на вокзале, Яков Антонович мысленно укорял себя: еще ничего не известно — хорошо это или плохо, что дети не приехали именно сегодня. Возможно, завтра он не привезет и доярок.

Так оно и вышло. Они стояли на дощатом перроне вместе с директором детдома, Дмитрием Ивановичем Коломбиным, а чуть внизу, за нестройным рядом торговков, тоже ожидающих поезда, стояла пустая полуторка с приткнутым к борту довоенным велосипедом. До обеденной дойки было часа два, полдень еще только вступал в силу. В молодой сочной зелени как-то тягуче гудели крылатые музыканты, муравьиноподобные насекомые. В их паутинистом нитье день изнывал, томился. Иногда со стороны речки упругими порывами налетал ветер и словно бы смывал паутину. Рукавастый пиджак Дмитрия Ивановича вскидывался, округлые очки взблескивали, он походил на длинноногую умную птицу. Сходство с птицей придавали очки и острый, длинный нос. Казалось, что именно носом Дмитрий Иванович все что-то высматривает и высматривает.

Но и на этот раз детей не привезли. Помогая затаскивать велосипед в кузов, Яков Антонович сказал директору, чтобы завтра он не приезжал: мыслимое ли дело — на велосипеде по такой дороге?.. Пусть лучше подготовятся к встрече: завтра День Победы, может, какую самодеятельность организуют, в некотором роде праздничный стол. А здесь, на вокзале, они с Геннадием Пушкарёвым сами справятся. Якову Антоновичу не хотелось, чтобы Дмитрий Иванович приезжал, еще и потому, что надеялся: завтра детей привезут. И хотя дети есть дети, человеки, а все же люди постараются разобрать большеньких, красивеньких. Те, кто останется... Надо, чтобы им обрадовались в детдоме, и в первую голову директор, Дмитрий Иванович, тут его чувства нужно поберечь, не расплескать.

— Ежели что... десятого приезжайте. Да и то... загодя позвоните, — посоветовал Яков Антонович.

За ночь несколько раз просыпался из-за тяжелого натужного гудения бомбардировщиков — учебные полеты. Выходил на улицу, смотрел на сияющую взлетную полосу аэродрома, потом на черное, усыпанное звездами небо — Млечный Путь, чуть накренившись, лежал, точно озеро в озере. Шорох листьев, сладковатый запах яблонь, холодная колодезная вода, отдающая свежим срубом, вдруг отзывались в душе мучительной тоской по прошлой неудавшейся жизни. Яков Антонович уходил в избу, ложился на широкую, твердую, как полати, кровать и засыпал. И опять над ним словно бы нависал рокот самолетов, который, как это бывает только во сне, начинал медленно переливаться в рокот тракторов. Какое-то время Якову Антоновичу слышится стрекот сенокосилки, и он все дальше и дальше уходит с литовкой к реке, высматривает Полю. Вон бежит с кастрюлькой: Яша! Они садятся возле шалаша. Легко, вольно вокруг, повядшая за день трава пахнет, томит, а в небесных прогалинах голубизна, кажется, это их с Полей души, разливаясь, сливаются. «Коля! Где наш Коля?» — спрашивает он, и Полина вдруг отступает, отступает. И уже в военном городке. Груды развалин, пожарище. Перебитые деревья валяются, кора висит, как рваная одежда, и белизна из-под нее, страшно взглянуть, человеческая. Яков Антонович увидел ограду, оторванный пролет запутался в телеграфных проводах, сердце прыгнуло, задохнулось, словно кто-то свинцовым сапогом наступил на грудь. Розовенький носочек, зацепившийся за штакетину, трепыхался на ветру, кричал, плакал: «Пап-ка-а!» Яков Антонович вскидывался, просыпался, опять выходил на улицу...

К рассвету полеты кончились.

Опершись о забор, Яков Антонович смотрел в расширившееся пространство неба, и так же необъяснимо, как ночью все навевало тоску, так сейчас — предчувствие какого-то счастливого исхода. Это новое чувство его немного пугало: чего ему ждать? Но потом пришла бабка Кланы, присматривающая за его нехитрым хозяйством, выставила к завтраку стакан наливки. Он искренне удивился: с чего бы? И тут же вспомнил: праздник, День Победы. Чувство окрепло, и час от часу в нем нарастала уверенность: сегодня произойдет что-то такое, что круто изменит его жизнь. И хотя он старался не думать об этом, приехав на вокзал, нисколько не удивился, что встречающих поезд баб — не в пример вчерашнему — много и почти все они записались у него как желающие взять ребенка на усыновление.

Тут же на траве возле станционной водокачки, похожей на силосную башню, побирушки разложили на тряпицах хлеб, лук, сало. «Верно, бутылку вермута тоже припасли», — ни к чему подумал Яков Антонович и едва не налетел на Реньку Воронько, брата начальника вокзала, безногого мужика, черного и кудлатого, приросшего к деревянной тележке, похожей на самокат, которую он размашисто кидал вперед так, словно она была частью туловища.

— Что, Яков, назвал народу? — густым, сиплым голосом, пугающим детей и собак, радостно спросил Ренька и, ловко вильнув, покатил к водокачке, держа в подоле обрубков блестящую на солнце бутылку красной.

В другой раз такая встреча со всей этой Ренькиной компанией вряд ли обрадовала бы Якова Антоновича, а сейчас и она по-своему помогла хорошему чувству. «Все — люди, все — человеки». Глядя, как со стороны крупозавода и элеватора подходят еще люди, подтянулся, одернул китель, стряхнул пыль с галифе: за свежее обмундирование бабуле надо спасибо сказать, надоумила. Услышав разликатые переливы гармошки, улыбнулся: сообразуется праздник, самый настоящий сообразуется. Пошел к машине, с достоинством подняв голову, стараясь как можно меньше припадать на левую ногу — все же он здесь какая ни есть, а власть. Однако ощущение себя как власти улетучилось тут же, как только начальник вокзала объявил, что скорый со Спасска выехал — детдом в четвертом вагоне. Раз за разом, доставая блокнот, чтобы убедиться, что список родителей, пожелавших усыновить ребенка, при нем, и прежде всего натыкаясь на свою фамилию, Яков Антонович не только не помнил, что ему надлежит сохранять подтянутость, но и не помнил себя самого.

Так что, когда поезд остановился и все, хлынув к четвертому вагону, вдруг почувствовали необходимость присутствия власти, потребовалось некоторое время, чтобы вызволить Якова Антоновича из задних рядов в круг, в котором два начальствующих проводника, размахивая свернутыми сигнальными флажками, оттесняли встречающих от вагона. Собственно, это они потребовали присутствия власти.

— Где власть?! Где? — нетерпеливо справился один из них, и толпа, словно она представляла собою одно-единственное лицо, молча оглядела себя и исторгла Якова Антоновича.

Теперь он был как бы все они. И все же он оставался Яковом Антоновичем Хвоцем, жителем Черниговки, одиноким мужиком, потерявшим на войне жену и сына и решившим сегодня, сейчас, усыновить ребенка.

Он увидел спускающуюся по ступенькам молоденькую женщину в коричневом жакете и черной шляпке; вуаль, украшенная звездочками, закрывая лицо, придавала ей нелепую

для этого случая маскарадную загадочность. Ступив на перрон, она легким кивком откинула вуаль и придержала рукой. В глаза бросились высокие набивные плечи жакета, приподнятые, словно под ними таились сложенные на спине крылья.

— Товарищи, кто здесь из Дмитриевского детдома? — услышал он звонкий, взволнованный голос, но не сразу сообразил, что голос принадлежит молоденькой женщине, потому что люди вокруг тоже заволновались, отхлынули от вагона. Он увидел свалившегося с самоката Реньку Воронько, бьющегося падучкой. «Ах ты, горе какое!»

Неизвестно, как бы обернулось все, не будь городская учительница, как мысленно окрестил ее Яков Антонович, такой крепенькой, такой славненькой, такой находчивой. Хотя щечки порозовели, она не растерялась, обратилась к народу громко, твердо. Особенно хорошо, что громко, ведь важно каждому услышать и переварить самому. Она, конечно, торопилась, начала со второстепенного: прижимая к груди ридикюль, достала бумаги, зачем-то стала перечислять одежду и обувь, которые передаются Дмитриевскому детдому наряду с тремя ящиками игрушек, а также постельным бельем и одеялами в количестве сорока комплектов. И то сказать, страшновато смотреть на Реньку — живой обрубок, а уж в припадке и вовсе страх.

Пока Яков Антонович, слюнявя химический карандаш, расписывался в соответствующих бумагах в получении, Геннадий Пушкарёв, не поддаваясь общей растерянности, вместе с проводниками выносил на перрон ящики, сундуки. Последний, с постельным бельем (сундук из красного дерева, тяжелый и громоздкий, со старинными вензелями на бронзовых пластинах), пришлось тащить с остановками: мешала девочка лет двенадцати, по имени Олька, вцепившаяся в торцовую ручку рядом с Геннадием. Худая, в застиранном платье желто-серого цвета, наголо остриженная и босая, она вызывала чувство досады и жалости. На все просьбы отстать, отцепиться насупливалась, глаза выпуклые и светлые обесмысливались, она точно каменела, еще крепче сжимая ручку. Когда же сундук начинали тащить, она словно просыпалась, всеми силами помогала, видно было, как от напряжения выпирают лопатки. «Погодь, погодь, надсадишься», — останавливал Геннадий, но в работе она преображалась. Становилась ловкой, смекалистой и еще немножко суетливой, впрочем, как и все женщины, вынужденные отсутствием физической силы возмещать рвением.

Опережая всех, она мелькала то здесь, то там и теперь была как бы главной хозяйкой поезда. Перед тем как стаскивать сундук по ступенькам, прикинули: как оно, чтобы лучше?.. Олька засветилась, выскочила на подножку, ждет, сообразила, что принимать сундук сил понадобится поболее. Ее усердие не осталось незамеченным, бабы ласково и сочувственно наблюдали: какую такую помощь она окажет мужикам? Не дотягиваясь до сундука, Олька спрыгнула на перрон, схватилась сбоку и все же пособила. «Смотри ты, помощница», — расчетливо громко заудивлялись бабы, и мужики, ухмыляясь, по-новому взглядывали на Ольку. Чувствуя на себе эти взгляды, она еще больше старалась. Яков Антонович тоже заметил ее легкую, порхающую фигурку, но его отвлек Игнат Воронько. Приказав мужикам перенести в вокзал приведенного в чувство Реньку, он подскочил к Якову Антоновичу с намерением задержать поезд. Городская учительница, пряча в ридикюль подписанные бумаги, опередила:

— Зачем задерживать? Документы подписаны, имущество вот. — Она указала на сундуки и ящики, стоящие на перроне. — А детей... Олька! — позвала она, но, так как никто не отозвался, решительно пошла к сундуку, возле которого, точно окаменев, застыла босая, остриженная наголо девочка в желто-сером застиранном ситцевом платье. Минуту назад

смекалистая и проворная, она, тупо уставившись, смотрела на бронзовый окраек сундука; казалось, что это не Олька, а совсем другая девочка.

Стуча крепкими, массивными каблуками, молодая женщина уверенно подошла к ней:

— Ну что ты как каменная?

Она несколько резковато взяла Ольку за руку, но та, неожиданно отпрянув, вырвалась, схватившись за сундук. Молоденькая женщина растерялась, лицо залилось румянцем, порозовели даже руки. Внезапно испугавшись, что сейчас заплачет, побледнела.

— Товарищи... — Голос дрогнул. — С Днем Победы вас!..

Заранее заготовленная фраза, которую городская учительница хотела произнести с пафосом, оборвалась. Она почувствовала в груди горячее покалывание и еще обиду за молчаливое отчуждение баб, они словно отодвинулись от нее. Пересиливая приступ, городская учительница вдруг стала жаловаться быстро, сбивчиво, что хочешь как лучше, а получается... Она не должна была ехать с детдомом, она ехала во Владивосток сама по себе, а ее попросили, а сегодня на вокзалах тьма народа, в Имане и Спасске детей разобрали, а вещи и Олька остались, потому что Олька спряталась... Конечно, она жаловалась, не надеясь на сочувствие, ей было обидно, но, странное дело, бабы теперь как будто придвинулись к ней.

Неожиданный гудок паровоза, резкий и свистящий, заглушил ее, поезд тронулся. Молоденькая женщина бросилась к вагону, на ходу прося всех, чтобы Ольку доставили в детдом вместе с документами и имуществом. Напоследок, с площадки тамбура, крикнула: «Оленька!» Помахала крепдешинным платочком, который прижимала к губам, удерживая кашель, и уехала. Ничего не осталось от нее, разве что только крик, ударивший Якова Антоновича в самое сердце: «Коленька!»

Ответно взмахнув рукой, Олька вытянулась, удерживая взглядом крепдешинный платочек, а потом опять сникла, вцепилась в сундук, будто в нем было все ее спасение. «А ведь так и есть, — подумал Яков Антонович, невольно представив на Олькином месте себя. — Должно быть, это ужасно, когда разбирают твоих товарищей, а ты почему-то знаешь, что тебя не выберут, не возьмут, и вынужден загодя прятаться от обид в этом огромном спасительном сундуке».

— Отойдите, девчата, расступитесь маленько, — попросил он и, подойдя к Ольке, положил на плечико свою большую ладонь. — Хочу показать ей наши сопки.

Бабы как стояли не шелохнувшись, так и продолжали стоять. Им говорили об усыновлении, и вдруг девочка, к тому же одна, это казалось невероятным. «Сейчас они очнутя», — ждал Яков Антонович, мысленно радуясь, что ход события сам собою попал в его руки и надо только не выпустить.

— Что тебе, Яков?

Теснясь, бабы расступились, обнаружив в конце рваного коридора бельмастого Сашку Безверова со своей двухрядкой на коленях. Он сидел на траве, по-татарски поджав босые ноги, лицом прямо на солнце, но это оттого, что люди теперь его не загораживали.

— Наш Сашка-музыкант, — сказал Яков Антонович и, чувствуя, как Олькино тельце напряглось, успокоил: — Да ты не бойся его, он наполовину зрячий, а голову закидывает для остротки, попрошайничает.

Криво усмехаясь, Сашка плюнул, но бабы одернули: октись, тебя сиротинке показывают.

— А я что, а я ничего, — суетливо дернулся Сашка и тоже повернулся вслед общему взгляду, подставив солнцу запятаистую, точно коровий зализ, плешь.

— Видишь, за крышами, синие?

Осторожно подняв голову, Олька вскрикнула:

— Ой, близко!

Бабы согласно закивали: дескать, так, так... А Яков Антонович возразил: близко, но не совсем, вот ежели бы от его хаты, тогда другое дело. Олька не успела и глазом моргнуть, как он подхватил ее и поставил на сундук.

— Маленько вбок смотри. Видишь, деревья? Колхозный сад. А вправо — аэродром. А с этой стороны сада, что к нам, — мазанка, белый дом под цинковой крышей — он и есть.

Чувствуя, к чему клонит председатель, бабы разделились: одни приняли сторону Якова Антоновича, другие зароптали — разве так привечают?

Пирожочек бы ей, конфетку, приголубил бы, а он водрузил на сундук — смотри. Что она там увидит?

Мужик, он и есть мужик, мать ей нужна. Яков Антонович и сам понимал: может, не так оно надо, да уж как умеет. Ежели Олька выберет его — кой в чем, конечно, бабка Кланы пособит, а так сам будет и за отца, и за мать.

— Геннадий, там в машине узелок на сиденье, принеси, — попросил Яков Антонович, отирая рукавом пот. — Ну что, Олька, нашла?

— Яков, ты ровно маленький, — осудили бабы, но он и сам знал, что увидеть дом невозможно, ему этот разговор с Олькой нужен был сам по себе, как разговор.

Но она вдруг привсталала на цыпочки:

— А труба какая, кирпичная?

— Кирпичная, — подтвердил Яков Антонович.

— А крыша покатая?

— Покатая.

— Тогда вижу, во-он, возле сада, — сказала Олька.

Яков Антонович, не скрывая горделивого превосходства, так взглянул в сторону роптавших, что они невольно притихли.

— Правильно, возле, — радостно согласился он и, так же быстро и легко, как поставил ее на сундук, сейчас снял.

Яков Антонович был уверен: Олька не видела дом. И в то же время не сомневался — видела.

— А знаешь, Олька, я тоже один, как и ты, совсем один.

Он вдруг заволновался и замолчал, подыскивая и не находя нужных слов.

Воротился Геннадий Пушкарёв с гостинцами бабки Клани. Уловив Олькин осторожный взгляд, с каким она следила за узелком, бабы всполошились, вспомнили о своих припасах. Яков Антонович хотел опередить их, но, как на грех, не мог сыскать концов марлевой завязки. «Эх, бабуля-бабуля», — горестно подумал он, кладя узелок на сундук и стараясь успокоиться тем, что мужик, он и есть мужик. Бабы вытаскивали пирожки, шанежки, сахаристый хворост, домашнее печенье, мед и все это протягивали Ольке: возьми, дитяtko, испробуй. Испугавшись обилия еды, она отступила вплотную к Якову Антоновичу, который, уже ни на что не надеясь, рассеянно отирал с лица пот. И вдруг со свойственной ей взрывной энергией Олька схватила узелок и, помогая зубами, в два счета ослабила завязку, осталось только потянуть ее, чтобы развязать. Польщенный Олькиной помощью, Яков Антонович осадил баб:

— Да погодите вы... у нас все есть.

Он развернул марлю, и глазам предстали действительно те же шанежки, то же домашнее печенье и тот же мед, цветом похожий на коровье масло.

— Мед! — изумленно вскрикнула Олька и тут же посерьезнела.

— Бери-бери, — потребовал Яков Антонович, — это тебе за твою работящность. Я тебя сразу заприметил, думаю: кто эта помощница, что всюду поспевает? Мне бы такую, а то... — Он внезапно осекся, помолчал. И вдруг ни с того ни с сего рассердился: — Я ведь что вам, бабы, скажу, вы не смотрите... Ежели Олька пристанет до меня — заместо отца и матери буду, в том мое верное слово. А уж там — решайте.

Он махнул рукой не то чтобы пренебрежительно, но довольно-таки грубо. Однако в ответ, будто от нечаянной ласки, сердца баб помягчели: да мы-то что, Яков?.. Одно слово, народ, это она сама пускай решает.

Очень по душе пришлось Ольке, что Яков Антонович сразу ее заприметил. Так по душе, что она едва не засмеялась вслух. По правде говоря, она рассчитывала, что ее заприметят. Потому-то и чуть не засмеялась, что не ошиблась. Поэтому же, когда Яков Антонович потребовал, чтобы она брала что пожелает, взяла не мед (она не маленькая), а шанежку. Сердитость, с какой Яков Антонович вдруг ни с того ни с сего набросился на баб, ее не удивила. Олька сама не знает отчего, но тоже осерчала на них. Так что, пока они рядились, она, недолго думая, ловко собрала гостинцы в марлевый узелок, потянула Якова Антоновича за рукав: идем. Он растерялся, суетясь, шкандыбнул к ней, хотел в избытке чувств погладить ее мальчишескую головку, а Олька подумала, что это от неуклюжести, поднырнула и проскочила под рукой. Потом оглянулась, подбежала к сундуку и опустила торцовую ручку, за которую держалась, мягко так придавила вниз и вернулась.

— Ты уж, Геннадий, сам смотри, погрузите имущество — и в детдом. А сундук этот опорожнишь и назад привози, Олька возьмет его, ейный он, — твердо сказал Яков Антонович и посмотрел на сундук пристально, со значением, словно надеялся, что и сундук как-то оценит сказанное и запомнит. — Коломбину передашь: я им другой закажу, пусть размеры даст.

Неожиданно для Якова Антоновича Олька прильнула к нему головкой, и они пошли. Людской коридор расступился, Сашка-музыкант по привычке вскинул к небу бельмастое лицо, рванул мехи, сыпанул «Яблочко». Военная фуражка его с красным околышем опрокинуто-просительно лежала здесь же, на траве. Яков Антонович остановился, зашарил по своим карманам, на что Сашка вдруг яростно замотал головой:

— Иди-иди, ничё не надо. — И, так как Яков Антонович продолжал рыться в своих широких галифе, заматерился, прервал музыку. — Я же сказал: ничё не надо, я так играю, для праздника.

Пройдя несколько шагов, Яков Антонович оглянулся, как всегда, повернувшись всем туловищем, вместе с ним оглянулась и Олька. Якова Антоновича заинтересовало: почему Сашка не играет? Однако, натолкнувшись на живую людскую стену молчаливого взгляда, позабыл о нем, подобрался, постоял, чувствуя неизъяснимо окрепшую веру в себя, глянул сверху вниз на Ольку:

— Ужо я им...

Почему он так сказал, бог весть... В ответ она сдвинула брови и тоже пролепетала:

— Ужо... — И, пряча головку за его рукой, тихо, почти беззвучно засмеялась.

Он улыбнулся, и они пошли.

Странное дело, но этот ее почти беззвучный смех услышан был и народом. Сашка рванул мехи, бабы зашевелились, вздыхая и поднося к глазам концы крестьянских выгоревших платков, а мужики, словно все им нипочем, стали выкрикивать всякие веселые ругательства, очень похожие на угрозы, в которых бабы улавливали одну только беззащитность да ранимость. И потому молчаливо заходились, заходились в ответ под юркое Сашкино «Яблочко».

Яков Антонович и Олька пересекли вокзальную площадь, вошли в улицу. Они шли от одного двора к другому, и всякий раз, когда кто-нибудь вырастал из-за плетня, Яков Антонович останавливался, сообщал:

— Домой идем, с Олькой, помощницей.

[1] *Параконка* — телега с двумя деревянными бортами, запряженная парой лошадей.